

Чернобыльская молитва. Хроника будущего

Автор:

[Светлана Алексиевич](#)

Чернобыльская молитва. Хроника будущего

Светлана Александровна Алексиевич

Голоса Утопии #4

Главной техногенной катастрофе XX века посвящена четвертая книга знаменитого художественно-документального цикла «Голоса Утопии» Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года «за многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время». «Совпали две катастрофы: космическая – Чернобыль, и социальная – ушел под воду огромный социалистический материк. И это, второе крушение, затмило космическое, потому что оно нам ближе и понятнее. То, что случилось в Чернобыле, – впервые на земле, и мы – первые люди, пережившие это». «Чернобыльская молитва» публикуется в новой авторской редакции – книга увеличилась на треть из-за восстановленных фрагментов, исключенных из прежних изданий по цензурным соображениям.

Светлана Алексиевич

Чернобыльская молитва. Хроника будущего

Мы воздух, мы не земля...

М. Мамардашвили

© Светлана Алексиевич, 2013

© «Время», 2013

Историческая справка

«Беларусь... Для мира мы terra incognita – неизвестная, неизведанная земля. “Белая Россия” – так примерно звучит название нашей страны на английском языке. О Чернобыле все знают, но только в связи с Украиной и Россией. Мы еще должны рассказать о себе...»

«Народная газета», 27 апреля 1996 г.

«26 апреля 1986 г. в 1 час 23 минуты 58 секунд – серия взрывов разрушила реактор и здание 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, расположенной вблизи белорусской границы. Чернобыльская катастрофа стала самой крупной технологической катастрофой XX века.

Для маленькой Беларуси (население 10 млн человек) она явилась национальным бедствием, хотя у самих белорусов нет ни одной атомной станции. Это по-прежнему аграрная страна, с преимущественно сельским населением. В годы Великой Отечественной войны немецкие фашисты уничтожили на белорусской земле 619 деревень вместе с их жителями. После Чернобыля страна потеряла 485 деревень и поселков: 70 из них уже навечно захоронены в земле. В войну погиб каждый четвертый белорус, сегодня каждый пятый живет на зараженной территории. Это 2,1 млн человек, из них – 700 тыс. детей. Среди факторов демографического угасания радиация занимает главное место. В Гомельской и Могилевской областях (наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы) смертность превысила рождаемость на 20 %.

В результате катастрофы в атмосферу выброшено 5010

Ki радионуклидов, из них 70 % выпало на Беларусь: 23 % ее территории заражено радионуклидами – более 1 Ки/км

по цезию-137. Для сравнения: на Украине заражено 4,8 % территории, в России – 0,5 %. Площадь сельхозугодий с плотностью загрязнения от 1 и больше Ки/км

составляет свыше 1,8 млн гектаров, стронцием-90 с плотностью 0,3 и больше Ки/км

– около 0,5 млн гектаров. Из сельхозоборота – выведено 264 тыс. гектаров земли. Беларусь – страна лесов. Но 26 % лесов и больше половины лугов в поймах рек Припять, Днепр, Сож относятся к зоне радиоактивного загрязнения...

Как следствие постоянного воздействия малых доз радиации с каждым годом в стране увеличивается количество раковых заболеваний, детей с умственной отсталостью, нервно-психическими расстройствами и генетическими мутациями...»

Сб. «Чернобыль». «Белорусская энциклопедия», 1996, с. 7, 24, 49, 101, 149

«По данным наблюдений, 29 апреля 1986 года высокий радиационный фон был зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, Румынии, 30 апреля – в Швейцарии и Северной Италии, 1–2 мая – во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, северной Греции, 3 мая – в Израиле, Кувейте, Турции...

Заброшенные на большую высоту газообразные и летучие вещества распространялись глобально: 2 мая они зарегистрированы в Японии, 4 мая – в Китае, 5-го – в Индии, 5 и 6 мая – в США и Канаде.

Меньше недели понадобилось, чтобы Чернобыль стал проблемой всего мира...»

Сб. «Последствия Чернобыльской аварии в Беларуси». Минск: Международный высший Сахаровский колледж по радиоэкологии, 1992, с. 82

«Четвертый реактор, именуемый объектом “Укрытие”, по-прежнему хранит в своем свинцово-железобетонном чреве около 200 тонн ядерных материалов. Причем топливо частично перемешано с графитом и бетоном. Что с ними происходит сегодня, не знает никто.

Саркофаг соорудили наспех, конструкция уникальная, наверное, инженеры-разработчики из Питера могут ею гордиться. Служить она должна была тридцать лет. Однако монтировали его “дистанционно”, плиты стыковывали с помощью роботов и вертолетов – отсюда и щели. Сегодня, согласно некоторым данным, общая площадь зазоров и трещин превышает 200 квадратных метров, из них продолжают вырываться радиоактивные аэрозоли. Если ветер дует с севера, то на юге – зольная активность: с ураном, плутонием, цезием. Мало того, в солнечный день при выключенном свете в реакторном зале видны столбы света, падающие сверху. Что это? Проникает внутрь и дождь. А при попадании влаги в топливосодержащие массы возможна цепная реакция...

Саркофаг – покойник, который дышит. Дышит смертью. На сколько его еще хватит? На это никто не ответит, до сих пор невозможно подобраться ко многим узлам и конструкциям, чтобы узнать, каков у них запас прочности. Зато все понимают: разрушение “Укрытия” привело бы к последствиям даже пострашнее, чем в 1986-м...»

Журнал «Огонек», № 17, апрель 1996

«До Чернобыля... на 100 тысяч белорусских жителей было 82 случая онкологических заболеваний. Сегодня статистика следующая: на 100 тысяч – 6 тысяч больных. Увеличение почти в 74 раза.

Смертность за последние десять лет увеличилась на 23,5 %. От старости умирает 1 человек из 14, в основном трудоспособные – 46–50 лет. В наиболее зараженных областях при медицинском осмотре установлено: из 10 человек – семь больных. Едешь по деревням, и тебя поражает территория разросшихся кладбищ...»

«До сих пор многие цифры неизвестны.... Их все еще держат в тайне, так они чудовищны. Советский Союз послал на место катастрофы 800 тысяч солдат

срочной службы и призванных на службу ликвидаторов, средний возраст последних был 33 года. А мальчишек взяли служить в армию сразу после школы...

Только в Беларуси значатся в списках ликвидаторов 115 493 человека. По данным Минздрава, с 1990 по 2003 год 8 553 ликвидатора умерли. По два человека в день...»

«Так начиналась история...

1986 год... На первых полосах советских и зарубежных газет репортажи о суде над виновниками чернобыльской катастрофы...

А теперь... Представьте пустой пятиэтажный дом. Дом без жильцов, но с вещами, мебелью, одеждой, которые использовать уже никто и никогда не сможет. Потому что дом этот в Чернобыле... Но именно в таком доме мертвого города давали небольшую пресс-конференцию для журналистов те, кому предстояло вершить суд над виновниками в атомной аварии. На самом высоком уровне, в ЦК КПСС решили, что дело должно рассматриваться на месте преступления. В самом Чернобыле. Суд состоялся в здании местного Дома культуры. На скамье подсудимых шестеро – директор атомной станции Виктор Брюханов, главный инженер Николай Фомин, заместитель главного инженера Анатолий Дятлов, начальник смены Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха Александр Коваленко, инспектор Госатомэнергонадзора СССР Юрий Лаушкин.

Зрительские места пустые. Сидят одни журналисты. Впрочем, людей уже здесь и нет, город “закрыли”, как “зону жесткого радиационного контроля”. Не по этой ли причине его и избрали местом суда – чем меньше свидетелей, тем меньше шума? Нет телеоператоров, и нет западных журналистов. Конечно, на скамье подсудимых все хотели увидеть десятки ответственных чиновников, в том числе и московских. Свою ответственность должна была нести и современная наука. Но согласились на “стрелочников”.

Приговор... Виктор Брюханов, Николай Фомин и Анатолий Дятлов получили по 10 лет. У других сроки были меньше. В заключении Анатолий Дятлов и Юрий Лаушкин умерли от последствий сильного радиационного облучения. Главный инженер Николай Фомин сошел с ума... А вот директор станции Виктор

Брюханов отбыл срок наказания от звонка до звонка – все десять лет. Встречали его родные и несколько журналистов. Событие прошло незаметно.

Бывший директор живет в Киеве, служит обычным клерком в одной из фирм...

Так кончается история...»

«В скором времени Украина приступает к грандиозному строительству. Над саркофагом, накрывшем в 1986-м году разрушенный четвертый блок Чернобыльской АЭС, появится новое укрытие под названием “Арка”. На этот проект 28 стран-доноров в ближайшее время выделяют первоначальные капиталовложения – свыше 768 миллионов долларов. Новое укрытие должно существовать уже не тридцать, а сто лет. И задумано оно грандиознее, потому что должно иметь достаточный объем, чтобы там вести работы по перезахоронению отходов. Нужен массивный фундамент: фактически предстоит сделать искусственный скальный грунт из бетонных столбов и плит. Следом надо подготовить хранилище, куда станут перевозить радиоактивные отходы, извлеченные из-под старого саркофага. Новое укрытие будет изготовлено из стали высокого качества, способной выдержать гамма-излучение. Только металла потребуется 18 тыс. тонн...

“Арка” станет беспрецедентным в истории человечества сооружением. Во-первых, поражают ее масштабы – это двойная оболочка высотой 150 метров. А по эстетике она приблизится к Эйфелевой башне...»

По материалам белорусских интернет-газет за 2002–2005 гг.

Одинокий человеческий голос

«Я не знаю, о чем рассказывать... О смерти или о любви? Или это одно и то же... О чем?»

...Мы недавно поженились. Еще ходили по улице и держались за руки, даже если в магазин шли. Всегда вдвоем. Я говорила ему: “Я тебя люблю”. Но я еще не знала, как я его любила. Не представляла... Жили мы в общежитии пожарной

части, где он служил. На втором этаже. И там еще три молодые семьи, на всех одна кухня. А внизу, на первом этаже, стояли машины. Красные пожарные машины. Это была его служба. Всегда я в курсе: где он, что с ним? Среди ночи слышу какой-то шум. Крики. Выглянула в окно. Он увидел меня: “Закрой форточки и ложись спать. На станции пожар. Я скоро буду”.

Самого взрыва я не видела. Только пламя. Все словно светилось... Все небо... Высокое пламя. Копоть. Жар страшный. А его все нет и нет. Копоть оттого, что битум горел, крыша станции была залита битумом. Ходили, потом вспоминал, как по смоле. Сбивали огонь, а он полз. Поднимался. Сбрасывали горящий графит ногами... Уехали они без брезентовых костюмов, как были в одних рубашках, так и уехали. Их не предупредили, их вызвали на обыкновенный пожар...

Четыре часа... Пять часов... Шесть... В шесть мы с ним собирались ехать к его родителям. Сажать картошку. От города Припять до деревни Сперижье, где жили его родители, сорок километров. Сеять, пахать... Он это любит... Мать часто вспоминала, как не хотели они с отцом отпускать его в город, даже новый дом построили. Забрали в армию. Служил в Москве в пожарных войсках, и когда вернулся: только в пожарники! Ничего другого не признавал. (Молчит.)

Иногда будто слышу его голос... Живой... Даже фотографии так на меня не действуют, как голос. Но он никогда меня не зовет. И во сне... Это я его зову...

Семь часов... В семь часов мне передали, что он в больнице. Я побежала, но вокруг больницы уже стояла кольцом милиция, никого не пускали. Одни машины “Скорой помощи” заезжали. Милиционеры кричали: к машинам не приближайтесь, счетчики зашкаливают! Не одна я, все жены прибежали, все, у кого мужа в эту ночь оказались на станции. Я бросилась искать свою знакомую, она работала врачом в этой больнице. Схватила ее за халат, когда она выходила из машины: “Пропусти меня!” – “Не могу! С ним плохо. С ними со всеми плохо”. Держу ее: “Только посмотреть”. “Ладно, – говорит, – тогда бежим. На пятнадцать-двадцать минут”. Я увидела его... Отекший весь, опухший... Глаз почти нет... “Надо молока. Много молока! – сказала мне знакомая. – Чтобы они выпили хотя бы по три литра”. – “Но он не пьет молоко”. – “Сейчас будет пить”. Многие врачи, медсестры, особенно санитарки этой больницы через какое-то время заболеют. Умрут. Но никто тогда этого не знал...

В десять утра умер оператор Шишенок. Он умер первым... В первый день... Мы узнали, что под развалинами остался второй – Валера Ходемчук. Так его и не достали. Забетонировали. Но мы еще не знали, что они все будут первыми...

Спрашиваю: “Васенька, что делать?” – “Уезжай отсюда! Уезжай! У тебя будет ребенок”. Я – беременная. Но как я его оставлю? Просит: “Уезжай! Спасай ребенка!” – “Сначала я должна принести тебе молоко, а потом решим”.

Прибегает моя подруга Таня Кибенок... Ее муж в этой же палате. С ней ее отец, он на машине. Мы садимся и едем в ближайшую деревню за молоком, километра три за город... Покупаем много трехлитровых банок с молоком... Шесть – чтобы хватило на всех... Но от молока их страшно рвало... Все время теряли сознание, им ставили капельницы. Врачи почему-то твердили, что они отравились газами, никто не говорил о радиации. А город заполнился военной техникой, перекрыли все дороги. Везде солдаты. Перестали ходить электрички, поезда. Мыли улицы каким-то белым порошком... Я волновалась, как же мне завтра добраться в деревню, чтобы купить ему парного молока? Никто не говорил о радиации. Одни военные ходили в респираторах... Горожане несли хлеб из магазинов, открытые кулечки с конфетами. Пирожные лежали на лотках... Обычная жизнь. Только... Мыли улицы каким-то порошком...

Вечером в больницу не пропустили. Море людей вокруг... Я стояла напротив его окна, он подошел и что-то мне кричал. Так отчаянно! В толпе кто-то расслышал: их увозят ночью в Москву. Жены сбились все в одну кучу. Решили: поедем с ними. Пустите нас к нашим мужьям! Не имеете права! Бились, царапались. Солдаты, уже стояла цепь в два ряда, нас отталкивали. Тогда вышел врач и подтвердил, что они полетят на самолете в Москву, но нам нужно принести им одежду, – та, в которой они были на станции, сгорела. Автобусы уже не ходили, и мы бегом – через весь город... Прибежали с сумками, а самолет уже улетел. Нас специально обманули. Чтобы мы не кричали, не плакали...

Ночь... По одну сторону улицы автобусы, сотни автобусов (уже готовили город к эвакуации), а по другую сторону – сотни пожарных машин. Пригнали отовсюду. Вся улица – в белой пене. Мы по ней идем... Ругаемся и плачем...

По радио объявили: город эвакуируют на три-пять дней, возьмите с собой теплые вещи и спортивные костюмы, будете жить в лесах. В палатках. Люди даже обрадовались – поедем на природу! Встретим там Первое мая. Необычно. Готовили в дорогу шашлыки, покупали вино. Брали с собой гитары,

магнитофоны. Любимые майские праздники! Плакали только те, чьи мужья пострадали.

Не помню, как доехала... Будто очнулась, когда увидела его мать: “Мама, Вася в Москве! Увезли специальным самолетом!”. Но мы досадили огород – картошку, капусту (а через неделю деревню эвакуируют!) Кто знал? Кто тогда это знал? К вечеру у меня открылась рвота. Я – на шестом месяце беременности. Мне так плохо... Ночью снится, что он меня зовет, пока он был жив, звал меня во сне: “Люся! Люсенька!”. А когда умер, ни разу не позвал. Ни разу... (Плачет.) Встаю я утром с мыслью, что поеду в Москву одна... “Куда ты такая?” – плачет мать. Собрали в дорогу и отца: “Пусть довезет тебя”. Сняли со сберкнижки деньги, которые у них были. Все деньги.

Дороги не помню... Дорога опять выпала из памяти... В Москве у первого милиционера спросили, в какой больнице лежат чернобыльские пожарники, и он нам сказал, я даже удивилась, потому что нас пугали: государственная тайна, совершенно секретно.

Шестая больница – на «Щукинской»...

В эту больницу, специальная радиологическая больница, без пропусков не пускали. Я дала деньги вахтеру, и тогда она говорит: “Иди”. Сказала, какой этаж. Кого-то я опять просила, молила... И вот сижу в кабинете у заведующей радиологическим отделением – Ангелины Васильевны Гуськовой. Тогда я еще не знала, как ее зовут, ничего не запоминала. Я знала только, что должна его увидеть. Найти.

Она сразу меня спросила:

– Миленькая моя! Миленькая моя... Дети есть?

Как я признаюсь?! И уже понимаю, что надо скрыть мою беременность. Не пустит к нему! Хорошо, что я худенькая, ничего по мне незаметно.

– Есть, – отвечаю.

– Сколько?

Думаю: “Надо сказать, что двое. Если один – все равно не пустит”.

– Мальчик и девочка.

– Раз двое, то рожать, видно, больше не придется. Теперь слушай: центральная нервная система поражена полностью, костный мозг поражен полностью...

“Ну ладно, – думаю, – станет немножко нервным”.

– Еще слушай: если заплачешь – я тебя сразу отправлю. Обниматься и целоваться нельзя. Ближе не подходить. Даю полчаса.

Но я знала, что уже отсюда не уйду. Если уйду, то с ним. Поклялась себе!

Захожу... Они сидят на кровати, играют в карты и смеются.

– Вася! – кричат ему.

Поворачивается:

– О, братцы, я пропал! И здесь нашла!

Смешной такой, пижама на нем сорок восьмого размера, а у него – пятьдесят второй. Короткие рукава, короткие штанишки. Но опухоль с лица уже сошла... Им вливали какой-то раствор...

– А чего это ты вдруг пропал? – спрашиваю.

И он хочет меня обнять.

– Сиди-сиди, – не пускает его ко мне врач. – Нечего тут обниматься.

Как-то мы это в шутку превратили. И тут уже все сбежались, и из других палат тоже. Все наши. Из Припяти. Их же двадцать восемь человек самолетом привезли. Что там? Что там у нас в городе? Я отвечаю, что началась эвакуация, весь город увозят на три или пять дней. Ребята молчат... А там были еще две

женщины, одна из них на проходной в день аварии дежурила, и она заплакала:

- Боже мой! Там мои дети. Что с ними?

Мне хотелось побыть с ним вдвоем, ну пусть бы одну минуточку. Ребята это почувствовали, каждый придумал какую-то причину, и они вышли в коридор. Тогда я обняла его и поцеловала. Он отодвинулся:

- Не садись рядом. Возьми стульчик.

- Да, глупости все это, - махнула я рукой. - А ты видел, где произошел взрыв? Что там? Вы ведь первые туда попали...

- Скорее всего, это вредительство. Кто-то специально устроил. Все наши ребята такого мнения.

Тогда так говорили. Думали.

На следующий день, когда я пришла, они уже лежали по одному, каждый в отдельной палате. Им категорически запрещалось выходить в коридор. Общаться друг с другом. Перестукивались через стенку: точка-тире, точка-тире... Точка... Врачи объяснили это тем, что каждый организм по-разному реагирует на дозы облучения, и то, что выдержит один, другому не под силу. Там, где они лежали, «зашкаливали» даже стены. Слева, справа и этаж под ними... Там всех выселили, ни одного больного... Под ними и над ними никого...

Три дня я жила у своих московских знакомых. Они мне говорили: бери кастрюлю, бери миску, бери все, что тебе надо, не стесняйся. Это такие оказались люди... Такие! Я варила бульон из индюшки, на шесть человек. Шесть наших ребят... Пожарников... Из одной смены... Они все дежурили в ту ночь: Ващук, Кибенок, Титенок, Правик, Тищура. В магазине купила им всем зубную пасту, щетки, мыло. Ничего этого в больнице не было. Маленькие полотенца купила... Я удивляюсь теперь своим знакомым, они, конечно, боялись, не могли не бояться, уже ходили всякие слухи, но все равно сами мне предлагали: бери все, что надо. Бери! Как он? Как они все? Они будут жить? Жить... (Молчит.) Встретила тогда много хороших людей, я не всех запомнила... Мир сузился до одной точки. Он... Только он... Помню пожилую санитарку, которая меня учила: "Есть болезни, которые не излечиваются. Надо сидеть и гладить руки".

Рано утром еду на базар, оттуда – к своим знакомым, варю бульон. Все протереть, покрошить, разлить по порциям. Кто-то попросил: “Привези яблочко”. С шестью пол-литровыми баночками... Всегда на шестерых! В больницу... Сажу до вечера. А вечером – опять в другой конец города. На сколько бы меня так хватило? Но через три дня сказали, что можно жить в гостинице для медработников, на территории самой больницы. Боже, какое счастье!

– Но там нет кухни. Как я буду им готовить?

– Вам уже не надо готовить. Их желудки перестают воспринимать еду.

Он стал меняться – каждый день я уже встречала другого человека... Ожоги выходили наверх... Во рту, на языке и щеках, сначала появились маленькие язвочки, потом они разрослись. Пластами отходила слизистая, пленочками белыми. Цвет лица... Цвет тела... Синий... Красный... Серо-бурый... А оно такое все мое, такое любимое! Это нельзя рассказать! Это нельзя написать! И даже пережить... Спасало то, что все это происходило мгновенно, некогда было думать, некогда было плакать.

Я любила его! Я еще не знала, как я его любила! Мы только поженились, еще не нарадовались друг другу... Идем по улице. Схватит меня на руки и закружится. И целует, целует. Люди идут мимо, и все улыбаются.

Клиника острой лучевой болезни – четырнадцать дней... За четырнадцать дней человек умирает...

В гостинице в первый же день дозиметристы меня замеряли. Одежда, сумка, кошелек, туфли, – все “горело”. И все это тут же у меня забрали. Даже нижнее белье. Не тронули только деньги. Взамен выдали больничный халат пятьдесят шестого размера на мой сорок четвертый, а тапочки сорок третьего вместо тридцать седьмого. Одежду, сказали, может, привезем, а может и нет, навряд ли она поддастся “чистке”. В таком виде я и появилась перед ним. Испугался: “Батюшки, что с тобой?”. А я все-таки ухитрилась варить бульон. Ставила кипяtilьник в стеклянную банку... Туда бросала кусочки курицы... Маленькие-маленькие... Потом кто-то отдал мне свою кастрюльку, кажется, уборщица или дежурная гостиницы. Кто-то – досочку, на которой я резала свежую петрушку. В больничном халате сама я не могла добраться до базара, кто-то мне эту зелень приносил. Но все бесполезно, он не мог даже пить... проглотить сырое яйцо... А

мне хотелось достать что-нибудь вкусненькое! Будто это могло помочь. Добежала до почты: “Девочки, – прошу, – мне надо срочно позвонить моим родителям в Ивано-Франковск. У меня здесь умирает муж”. Почему-то они сразу догадались, откуда я и кто мой муж, моментально соединили. Мой отец, сестра и брат в тот же день вылетели ко мне в Москву. Они привезли мои вещи. Деньги.

Девятого мая... Он всегда мне говорил: “Ты не представляешь, какая красивая Москва! Особенно на День Победы, когда салют. Я хочу, чтобы ты увидела”. Сажу возле него в палате, открыл глаза:

– Сейчас день или вечер?

– Девять вечера.

– Открывай окно! Начинается салют!

Я открыла окно. Восьмой этаж, весь город перед нами! Букет огня взметнулся в небо.

– Вот это да!

– Я обещал тебе, что покажу Москву. Я обещал, что по праздникам буду всю жизнь дарить цветы...

Оглянулась – достает из-под подушки три гвоздики. Дал медсестре деньги – и она купила.

Подбежала и целую:

– Мой единственный! Любовь моя!

Разворчался:

– Что тебе приказывают врачи? Нельзя меня обнимать! Нельзя целовать!

Мне запрещали его обнимать. Гладить... Но я... Я поднимала и усаживала его на кровать. Перестилала постель, ставила градусник, приносила и уносила судно... Вытирала... Всю ночь – рядом. Сторожила каждое его движение. Вздох.

Хорошо, что не в палате, а в коридоре... У меня закружилась голова, я ухватилась за подоконник... Мимо шел врач, он взял меня за руку. И неожиданно:

– Вы беременная?

– Нет-нет! – Я так испугалась, что нас кто-нибудь услышит.

– Не обманывайте, – вздохнул он.

Я так растерялась, что не успела его ни о чем попросить.

Назавтра меня вызывают к заведующей:

– Почему вы меня обманули? – строго спросила она.

– Не было выхода. Скажи я правду – отправили бы домой. Святая ложь!

– Что вы натворили!

– Но я с ним...

– Миленькая ты моя! Миленькая моя...

Всю жизнь буду благодарна Ангелине Васильевне Гуськовой. Всю жизнь!

Другие жены тоже приезжали, но их уже не пустили. Были со мной их мамы: мамам разрешили... Мама Володи Правика все время просила Бога: “Возьми лучше меня”.

Американский профессор, доктор Гейл... Это он делал операцию по пересадке костного мозга... Утешал меня: надежда есть, маленькая, но есть. Такой могучий

организм, такой сильный парень! Вызвали всех его родственников. Две сестры приехали из Беларуси, брат из Ленинграда – он там служил. Младшая Наташа, ей было четырнадцать лет, очень плакала и боялась. Но ее костный мозг подошел лучше всех... (Замолкает.) Я уже могу об этом рассказывать... Раньше не могла. Я десять лет молчала. Десять лет... (Замолкает.)

Когда он узнал, что костный мозг берут у его младшей сестрички, наотрез отказался: “Я лучше умру. Не трогайте ее, она маленькая”. Старшей сестре Люде было двадцать восемь лет, она сама медсестра, понимала, на что идет. “Только бы он жил”, – говорила она. Я видела операцию. Они лежали рядышком на столах... Там большое окно в операционном зале. Операция длилась два часа... Когда кончили, хуже было Люде, чем ему, у нее на груди восемнадцать проколов, тяжело выходила из наркоза. И сейчас болеет, на инвалидности... Была красивая, сильная девушка. Замуж не вышла... А я тогда металась из одной палаты в другую, от него – к ней. Он лежал уже не в обычной палате, а в специальной барокамере, за прозрачной пленкой, куда заходить не разрешалось. Там такие специальные приспособления есть, чтобы, не заходя под пленку, делать уколы, ставить катетер... Все на липучках, на замочках, и я научилась ими пользоваться... Тихонько пленку отодвину и проберусь к нему... В конце концов возле его кровати мне поставили маленький стульчик. Ему стало так плохо, что я уже не могла отойти, ни на минуту. Звал меня постоянно: “Люся, где ты? Люсенька!”. Звал и звал... Другие барокамеры, где лежали наши ребята, обслуживали солдаты, потому что штатные санитары отказались, требовали защитной одежды. Солдаты выносили судно. Протирали полы, меняли постельное белье... Полностью обслуживали. Откуда там появились солдаты? Не спрашивала... Только он... Он... А каждый день слышу: умер, умер... Умер Тищура. Умер Титенок. Умер... Как молотком по темечку...

Стул двадцать пять – тридцать раз в сутки. С кровью и слизью. Кожа начала трескаться на руках, ногах... Все тело покрылось волдырями. Когда он ворочал головой, на подушке оставались клочья волос... А все такое родное. Любимое... Я пыталась шутить: “Даже удобно. Не надо носить расческу”. Скоро их всех постригли. Его я стригла сама. Я все хотела ему делать сама. Если бы я могла выдержать физически, то я все двадцать четыре часа не ушла бы от него. Мне каждую минутку было жалко... Минутку, и то жалко... (Закрывает лицо руками и молчит.) Приехал мой брат и испугался: “Я тебя туда не пущу!”. А отец говорит ему: “Такую разве непустишь? Да она в окно влезет! По пожарной лестнице!”.

Отлучилась... Возвращаюсь – на столике у него апельсин... Большой, не желтый, а розовый. Улыбается: “Меня угостили. Возьми себе”. А медсестра через пленочку машет, что нельзя этот апельсин есть. Раз он возле него какое-то время полежал, его не то что есть, к нему прикоснуться страшно. “Ну съешь, – просит. – Ты же любишь апельсины”. Я беру апельсин в руки. А он в это время закрывает глаза и засыпает. Ему все время давали уколы, чтобы он спал. Наркотики. Медсестра смотрит на меня в ужасе... А я? Я готова сделать все, чтобы он только не думал о смерти... И о том, что болезнь его ужасная, что я его боюсь... Обрывок какого-то разговора... Кто-то меня увещевает: “Вы не должны забывать, что перед вами уже не муж, не любимый человек, а радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. Вы же не самоубийца. Возьмите себя в руки”. А я как умалишенная: “Я его люблю! Я его люблю!”. Он спал, я шептала: “Я тебя люблю!”. Шла по больничному двору: “Я тебя люблю!”. Несла судно: “Я тебя люблю!”. Вспоминала, как мы с ним раньше жили. В нашем общежитии... Он засыпал ночью только тогда, когда возьмет меня за руку. У него была такая привычка: во сне держать меня за руку. Всю ночь.

А в больнице я возьму его за руку и не отпускаю...

Ночь. Тишина. Мы одни. Посмотрел на меня внимательно-внимательно и вдруг говорит:

– Так хочу увидеть нашего ребенка. Какой он?

– А как мы его назовем?

– Ну, это ты уже сама придумаешь...

– Почему я сама, если нас двое?

– Тогда, если родится мальчик, пусть будет Вася, а если девочка – Наташка.

– Как это Вася? У меня уже есть один Вася. Ты! Мне другого не надо.

Я еще не знала, как я его любила! Он... Только он... Как слепая! Даже не чувствовала толчков под сердцем... Хотя была уже на шестом месяце... Я думала, что она внутри меня, моя маленькая, и она защищена. Моя маленькая...

О том, что ночью у него в барокамере, никто из врачей не знал. Не догадывался. Пускали меня медсестры. Первое время тоже уговаривали: “Ты – молодая. Что ты надумала? Это уже не человек, а реактор. Сгорите вместе”. Я, как собачка, бегала за ними... Стояла часами под дверью. Просила-умоляла. И тогда они: “Черт с тобой! Ты – ненормальная”. Утром перед восьмью часами, когда начинался врачебный обход, показывают через пленку: “Беги!”. На час сбегая в гостиницу. А с девяти утра до девяти вечера у меня пропуск. Ноги у меня до колен посинели, распухли, настолько я уставала. Моя душа была крепче тела. Моя любовь...

Пока я с ним... этого не делали... Но когда уходила, его фотографировали... Одежды никакой. Голый. Одна легкая простыночка поверх. Я каждый день меняла эту простыночку, а к вечеру она вся в крови. Поднимаю его, и у меня на руках остаются кусочки кожи, прилипают. Прошу: “Миленький! Помоги мне! Обопрись на руку, на локоть, сколько можешь, чтобы я тебе постель разгладила, не оставила ни одного шва, ни одной складочки”. Любой шовчик – это уже рана на нем. Я срезала себе ногти до крови, чтобы где-то его не зацепить. Никто из медсестер не решался подойти, прикоснуться, если что-нибудь нужно, звали меня. И они... Они фотографировали... Говорили, для науки. А я бы их всех вытолкнула оттуда! Кричала бы и била! Как они могут! Если бы я могла их туда не пустить... Если бы...

Выйду из палаты в коридор... И иду на стенку, на диван, потому что я ничего не вижу. Остановлю дежурную медсестру: “Он умирает”. Она мне отвечает: “А что ты хочешь? Он получил тысяча шестьсот рентген, а смертельная доза четыреста”. Ей тоже жалко, но по-другому. А оно все мое... Все любимое.

Когда они все умерли, в больнице сделали ремонт... Стены скоблили, взорвали паркет и вынесли... Столярку.

Дальше – последнее... Помню обрывками. Все уплывает...

Ночь сижу возле него на стульчике... В восемь утра: “Васенька, я пойду. Я немножко отдохну”. Откроет и закроет глаза – отпустил. Только дойду до гостиницы, до своей комнаты, лягу на пол, на кровати лежать не могла, так все болело, как уже стучит санитарка: “Иди! Беги к нему! Зовет беспощадно!”. А в то утро Таня Кибенок так меня просила, звала: “Поедем со мной на кладбище. Я без тебя не смогу”. В то утро хоронили Витю Кибенка и Володю Правика. С Витей они были друзья, мы дружили семьями. За день до взрыва вместе

сфотографировались у нас в общежитии. Такие они, наши мужья, там красивые! Веселые! Последний день нашей той жизни... Дочернобыльской... Такие мы счастливые!

Вернулась с кладбища, быстренько звоню на пост медсестре: “Как он там?” – “Пятнадцать минут назад умер”. Как? Я всю ночь была у него. Только на три часа отлучилась! Встала у окна и кричала: “Почему? За что?”. Смотрела на небо и кричала... На всю гостиницу... Ко мне боялись подойти... Опомнилась: напоследок его увижу! Увижу! Скатилась с лестницы... Он лежал еще в барокамере, не увезли. Последние слова его: “Люся! Люсенька!” – “Только отошла. Сейчас прибежит”, – успокоила медсестра. Вдохнул и затих.

Я уже от него не оторвалась... Шла с ним до гроба... Хотя запомнила не сам гроб, а большой полиэтиленовый пакет... Этот пакет... В морге спросили: “Хотите, мы покажем вам, во что его оденем”. Хочу! Одели в парадную форму, фуражку на грудь положили. Обувь не подобрали, потому что ноги распухли. Бомбы вместо ног. Парадную форму тоже разрезали, натянуть не могли, не было уже целого тела. Все – кровавая рана. В больнице последние два дня... Подниму его руку, а кость шатается, болтается кость, телесная ткань от нее отошла. Кусочки легкого, кусочки печени шли через рот... Захлебывался своими внутренностями... Обкручу руку бинтом и засуну ему в рот, все это из него выгребаю... Это нельзя рассказать! Это нельзя написать! И даже пережить... Это все такое родное... Такое... Ни один размер обуви невозможно было натянуть... Положили в гроб босого...

На моих глазах... В парадной форме его засунули в целлофановый мешок и завязали. И этот мешок уже положили в деревянный гроб... А гроб еще одним мешком обвязали... Целлофан прозрачный, но толстый, как клеенка. И уже все это поместили в цинковый гроб, еле втиснули. Одна фуражка наверху осталась.

Съехались все... Его родители, мои родители... Купили в Москве черные платки... Нас принимала чрезвычайная комиссия. Всем говорили одно и то же, что отдать вам тела ваших мужей, ваших сыновей мы не можем, они очень радиоактивные и будут похоронены на московском кладбище особым способом. В запаянных цинковых гробах, под бетонными плитками. И вы должны этот документ подписать. Нужно ваше согласие. Если кто-то возмутился, хотел увезти гроб на родину, его убеждали, что они, мол, герои и теперь семье уже не принадлежат. Они уже государственные люди... Принадлежат государству.

Сели в катафалк... Родственники и какие-то военные люди. Полковник с рацией... По рации передают: “Ждите наших приказаний! Ждите!”. Два или три часа колесили по Москве, по кольцевой дороге. Опять в Москву возвращаемся... По рации: “На кладбище въезд не разрешаем. Кладбище атакуют иностранные корреспонденты. Еще подождите”. Родители молчат... Платок у мамы черный... Я чувствую, что теряю сознание. Со мной истерика: “Почему моего мужа надо прятать? Он – кто? Убийца? Преступник? Уголовник? Кого мы хороним?”. Мама: “Тихо, тихо, дочечка”. Гладит меня по голове, берет за руку. Полковник передает: “Разрешите следовать на кладбище. С женой истерика”. На кладбище нас окружили солдаты. Шли под конвоем. И гроб несли под конвоем. Никого не пустили попрощаться... Одни родственники... Засыпали моментально. “Быстро! Быстро!” – командовал офицер. Даже не дали гроб обнять.

И сразу – в автобусы...

Мгновенно купили и принесли обратные билеты... На следующий день... Все время с нами был какой-то человек в штатском, с военной выправкой, не дал даже выйти из номера и купить еду в дорогу. Не дай Бог, чтобы мы с кем-нибудь заговорили, особенно я. Как будто я тогда могла говорить, я уже даже плакать не могла. Дежурная, когда мы уходили, пересчитала все полотенца, все простыни... Тут же их складывала в полиэтиленовый мешок. Наверное, сожгли... За гостиницу мы сами заплатили. За четырнадцать суток...

Клиника лучевой болезни – четырнадцать суток... За четырнадцать суток человек умирает...

Дома я уснула. Зашла в дом и повалилась на кровать. Я спала трое суток. Меня не могли поднять... Приехала “скорая помощь”. “Нет, – сказал врач, – она не умерла. Она проснется. Это такой страшный сон”.

Мне было двадцать три года...

Я помню сон... Приходит ко мне моя умершая бабушка, в той одежде, в которой мы ее похоронили. И наряжает елку. “Бабушка, почему у нас елка? Ведь сейчас лето?” – “Так надо. Скоро твой Васенька ко мне придет”. А он вырос среди леса. Я помню... Второй сон... Вася приходит в белом и зовет Наташу. Нашу девочку, которую я еще не родила. Уже она большая, и я удивляюсь: когда она так подросла? Он подбрасывает ее под потолок, и они смеются... А я смотрю на них

и думаю, что счастье – это так просто. Так просто! А потом мне приснилось... Мы бродим с ним по воде. Долго-долго идем... Просил, наверное, чтобы я не плакала. Давал знак оттуда. Сверху. (Затихает надолго.)

Через два месяца я приехала в Москву. С вокзала – на кладбище. К нему! И там на кладбище у меня начались схватки. Только я с ним заговорила... Вызвали “скорую”. Я дала адрес. Рожала я там же... У той же Ангелины Васильевны Гуськовой... Она меня еще тогда предупредила: “Рожать приезжай к нам”. А куда я такая еще поеду? Родила я на две недели раньше срока...

Мне показали... Девочка... “Наташенька, – позвала я. – Папа назвал тебя Наташенькой”. На вид здоровый ребенок. Ручки, ножки... А у нее был цирроз печени... В печени – двадцать восемь рентген... Врожденный порок сердца... Через четыре часа сказали, что девочка умерла. И опять... мы ее вам не отдадим! Как это не отдадите?! Это я ее вам не отдам! Вы хотите ее забрать для науки, а я ненавижу вашу науку! Ненавижу! Она забрала у меня сначала его, а теперь еще ждет... Не отдам! Я похороню ее сама. Рядом с ним... (Переходит на шепот.)

Все не те слова вам говорю... Не такие... Нельзя мне кричать после инсульта. И плакать нельзя. Но я хочу... Хочу, чтобы знали... Еще никому не признавалась... Когда я не отдала им мою маленькую девочку. Нашу девочку... Тогда они принесли мне деревянную коробочку: “Она – там”. Я посмотрела: ее запеленали. Она лежала в пеленочках. И тогда я заплакала: “Положите ее у его ног. Скажите, что это наша Наташенька”.

Там, на могилке, не написано: Наташа Игнатенко... Там только его имя... Она же была еще без имени, без ничего... Только душа... Душу я там и похоронила...

Я прихожу к ним всегда с двумя букетами: один – ему, второй – на уголок кладу ей. Ползаю у могилы на коленках. Всегда на коленках... (Бессвязно.) Я ее убила... Я... она... спасла... Моя девочка меня спасла, она приняла весь радиоудар на себя, стала как бы приемником этого удара. Такая маленькая. Крохотулечка. (Задыхаясь.) Она меня уберегла. Но я любила их двоих... Разве... Разве можно убить любовью? Такой любовью! Почему это рядом? Любовь и смерть. Всегда они вместе. Кто мне объяснит? Кто подскажет? Ползаю у могилы на коленках... (Надолго затихает.)

...В Киеве мне дали квартиру. В большом доме, где теперь живут все, кто уехал с атомной станции. Все знакомые. Квартира большая, двухкомнатная, о какой мы с Васей мечтали. А я сходила в ней с ума! В каждом углу, куда ни гляну – везде он. Его глаза... Начала ремонт, лишь бы не сидеть, лишь бы забыться. И так два года... Снится мне сон... Мы идем с ним, а он идет босиком. “Почему ты всегда необутый?” – “Да потому, что у меня ничего нет”. Пошла в церковь... Батюшка меня научил: “Надо купить тапочки большого размера и положить кому-нибудь в гроб. Написать записку – что это ему”. Я так и поступила. Приехала в Москву и сразу – в церковь. В Москве я к нему ближе... Он там лежит, на Митинском кладбище... Рассказываю служителю, что так и так, мне надо тапочки передать. Спрашивает: “А ведомо тебе, как это делать надо?”. Еще раз объяснил... Как раз внесли отпевать дедушку старого. Я подхожу к гробу, поднимаю накидочку и кладу туда тапочки. “А записку ты написала?” – “Да, написала, но не указала, на каком кладбище он лежит”. – “Там они все в одном мире. Найдут его”.

У меня никакого желания жить не было. Ночью стою у окна, смотрю на небо: “Васенька, что мне делать? Я не хочу без тебя жить”. Днем иду мимо детского садика, встану и стою... Глядела бы и глядела на детей... Я сходила с ума! И стала ночью просить: “Васенька, я рожу ребенка. Я уже боюсь быть одна. Не выдержу дальше. Васенька!”. А в другой раз так попрошу: “Васенька, мне не надо мужчины. Лучше тебя для меня нет. Я хочу ребеночка”.

Мне было двадцать пять лет...

Я нашла мужчину... Все ему рассказала... Всю правду: у меня одна любовь, на всю жизнь. Я все ему открыла... Мы встречались, но я никогда его в дом к себе не звала, в дом не могла. Там – Вася...

Работала я кондитером. Леплю торт, а слезы катятся. Я не плачу, а слезы катятся. Единственное, о чем девочек просила: “Не жалейте меня. Будете жалеть, я уйду”. Не надо меня жалеть... Я когда-то была счастливая...

Принесли мне Васин орден. Красного цвета... Я смотреть на него долго не могла. Слезы катятся...

Родила мальчика. Андрей... Андрейка... Подруги останавливали: “Тебе нельзя рожать”, и врачи пугали: “Ваш организм не выдержит”. Потом... Потом они сказали, что он будет без ручки... Без правой ручки... Аппарат показывал... “Ну и

что? – думала я. – Научу писать его левой ручкой”. А родился нормальный... красивый мальчик... Учится уже в школе, учится на одни пятерки. Теперь у меня есть кто-то, кем я дышу и живу. Свет в моей жизни. Он прекрасно все понимает: “Мамочка, если я уеду к бабушке, на два дня, ты дышать сможешь?”. Не смогу! Боюсь на день с ним разлучиться. Мы шли по улице... И я, чувствую, падаю... Тогда меня разбил первый инсульт... Там, на улице... “Мамочка, тебе водички дать?” – “Нет, ты стой возле меня. Никуда не уходи”. И хватанула его за руку. Дальше не помню... Открыла глаза в больнице... Я так хватанула Андрейку за руку, что врачи еле разжали мои пальцы. У него рука долго была синяя. Теперь выходим из дома: “Мамочка, только не хватай меня за руку. Я никуда от тебя не уйду”. Он тоже болеет: две недели в школе, две – дома с врачом. Вот так и живем. Боимся друг за друга. А в каждом углу Вася... Его фотографии... Ночью с ним говорю и говорю... Бывает, меня во сне попросит: “Покажи нашего ребеночка”. Мы с Андрейкой приходим... А он приводит за руку дочку. Всегда с дочкой. Играет только с ней...

Так я и живу... Живу одновременно в реальном и нереальном мире. Не знаю, где мне лучше... (Встает. Подходит к окну.) Нас тут много. Целая улица, ее так и называют – чернобыльская. Всю свою жизнь эти люди на станции проработали. Многие до сих пор ездят туда на вахту, теперь станцию обслуживают вахтовым методом. Никто там уже не живет и жить никогда не будет. У них у всех тяжелые заболевания, инвалидности, но работу свою не бросают, боятся даже подумать об этом. У них нет жизни без реактора, реактор – их жизнь. Где и кому они сегодня нужны в другом месте? Часто умирают. Умирают мгновенно. Они умирают на ходу – шел и упал, уснул и не проснулся. Нес медсестре цветы и остановилось сердце. Стоял на автобусной остановке... Они умирают, но их никто по-настоящему не расспросил. О том, что мы пережили... Что видели... О смерти люди не хотят слушать. О страшном...

Но я вам рассказала о любви... Как я любила...»

Людмила Игнатенко, жена погибшего пожарника Василия Игнатенко

Интервью автора с самой собой о пропущенной истории и о том, почему Чернобыль ставит под сомнение нашу картину мира

– Я – свидетель Чернобыля... Самого главного события двадцатого века, несмотря на страшные войны и революции, которыми будет памятен этот век. Прошло больше двадцать лет после катастрофы, но до сих пор для меня вопрос – о чем я свидетельствую: о прошлом или о будущем? Так легко соскользнуть в банальность... В банальность ужаса... Но я смотрю на Чернобыль как на начало новой истории, он не только знание, а и предзнание, потому что человек вступил в спор с прежними представлениями о себе и о мире. Когда мы говорим о прошлом или о будущем, то вкладываем в эти слова свои представления о времени, но Чернобыль – это прежде всего катастрофа времени. Радионуклиды, разбросанные по нашей земле, будут жить пятьдесят, сто, двести тысяч лет... И больше... С точки зрения человеческой жизни, они – вечные. Что же мы способны понять? В наших ли силах добыть и распознать смысл в этом, еще незнакомом нам ужасе?

О чем эта книга? Почему я ее написала?

– Эта книга не о Чернобыле, а о мире Чернобыля. О самом событии написаны уже тысячи страниц и сняты сотни тысяч метров киноплёнки. Я же занимаюсь тем, что назвала бы пропущенной историей, бесследными следами нашего пребывания на земле и во времени. Пишу и собираю повседневность чувств, мыслей, слов. Пытаюсь застичь быт души. Жизнь обычного дня обычных людей. Здесь же все необычно: и событие, и люди, когда они обживали новое пространство. Чернобыль для них – не метафора, не символ, он – их дом. Сколько раз искусство репетировало апокалипсис, предлагало разные технологические версии светопредставления, но теперь мы точно знаем, что жизнь куда фантастичнее. Через год после катастрофы меня кто-то спросил: «Все пишут. А вы живете здесь и не пишете. Почему?». А я не знала, как об этом писать, с каким инструментом и откуда подступиться. Если раньше, когда писала свои книги, я вглядывалась в страдания других, то сейчас я и моя жизнь стали частью события. Слепились воедино, не отойти на расстояние. Имя моей маленькой, затерянной в Европе страны, о которой мир раньше почти ничего не слышал, зазвучало на всех языках, она превратилась в дьявольскую чернобыльскую лабораторию, а мы, белорусы, стали чернобыльским народом. Где бы я теперь ни появлялась, все с любопытством оглядывались: «А, вы оттуда? Что там?». Конечно, можно было быстро написать книгу, какие потом появлялись одна за другой – что случилось в ту ночь на станции, кто виноват, как скрывали аварию от мира и от собственного народа, сколько тонн песка и бетона понадобилось, чтобы соорудить саркофаг над дышащим смертью реактором, – но что-то меня останавливало. Держало за руку. Что? Ощущение тайны. Это скоропостижно

вселившееся в нас ощущение витало тогда над всем: нашими разговорами, действиями, страхами и следовало вслед за событием. Событием-чудовищем. У всех появилось высказанное или невысказанное чувство, что мы прикоснулись к неведомому. Чернобыль – это тайна, которую нам еще предстоит разгадать. Непрочтенный знак. Может быть, загадка на двадцать первый век. Вызов ему. Стало ясно: кроме коммунистических, национальных и новых религиозных вызовов, среди которых живем и выживаем, впереди нас ждут другие вызовы, более свирепые и тотальные, но пока еще скрытые от глаз. Но что-то уже после Чернобыля приоткрылось...

Ночь 26 апреля 1986 года... За одну ночь мы переместились в другое место истории. Совершили прыжок в новую реальность, и она, эта реальность, оказалась выше не только нашего знания, но и нашего воображения. Порвалась связь времен... Прошлое вдруг оказалось беспомощным, в нем не на что было опереться, в вездесущем (как мы верили) архиве человечества не нашлось ключей, чтобы открыть эту дверь. Я не раз слышала в те дни: «таких слов не подберу, чтобы передать то, что я видела и пережила», «никто раньше мне ничего подобного не рассказывал», «ни в одной книжке об этом не читал и в кино не видел». Между временем, когда случилась катастрофа, и тем временем, когда о ней начали рассказывать, была пауза. Момент немоты... Он запомнился всем... Где-то наверху принимали какие-то решения, сочиняли секретные инструкции, поднимали в небо вертолеты, двигали по дорогам огромное количество техники, внизу – ждали сообщений и боялись, жили слухами, но все молчали о главном – что же все-таки произошло? Не находили слов для новых чувств и не находили чувств для новых слов, не умели еще выразиться, но постепенно погружались в атмосферу нового думанья, так можно сегодня определить то наше состояние. Просто фактов уже не хватало, тянуло заглянуть за факт, войти в смысл происходящего. Эффект потрясения! И я искала этого потрясенного человека... Он говорил новые тексты... Голоса иногда пробивались, как будто сквозь сон или бред, из параллельного мира. Рядом с Чернобылем все начинали философствовать. Становились философами. Храмы опять заполнились людьми... Верующими и недавними атеистами... Искали ответов, которые не могли дать физика и математика. Трехмерный мир раздвинулся, и я не встречала смельчаков, которые бы снова могли поклясться на библии материализма. Ярko вспыхнула бесконечность. Замолчали философы и писатели, выбитые из знакомой колеи культуры и традиции. Интереснее всего в те первые дни было разговаривать не с учеными, не с чиновниками и военными с большими погонами, а со старыми крестьянами. Живут они без Толстого и Достоевского, без интернета, но их сознание каким-то образом вместило в себя новую картину мира. Не разрушилось. Наверное, мы все скорее бы справились с военной

атомной ситуацией, как в Хиросиме, собственно, к ней и готовились. Но катастрофа случилась на невоенном атомном объекте, а мы были люди своего времени и верили, как нас учили, что советские атомные станции самые надежные в мире, их можно строить даже на Красной площади. Военный атом – это Хиросима и Нагасаки, а мирный атом – это электрическая лампочка в каждом доме. Никто еще не догадывался, что военный и мирный атом – близнецы. Сообщники. Мы поумнели, весь мир поумнел, но поумнел он после Чернобыля. Сегодня белорусы, как живые «черные ящики», записывают информацию для будущего. Для всех.

Я долго писала эту книгу... Почти двадцать лет... Встречалась и разговаривала с бывшими работниками станции, учеными, медиками, солдатами, переселенцами, самоселами... С теми, для кого Чернобыль – основное содержание их мира, все внутри и вокруг отравлено им, а не только земля и вода. Они рассказывали, искали ответы... Мы думали вместе. Часто они торопились, боялись не успеть, я еще не знала, что цена их свидетельствам – жизнь. «Запишите, – повторяли, – мы не все поняли, что видели, но пусть останется. Кто-то прочтет и поймет. Потом... После нас...» Не зря они торопились, многих уже нет в живых. Но они успели послать сигнал...

– Все, что нам известно об ужасах и страхах, больше всего связано с войной. Сталинский ГУЛАГ и Освенцим – недавние приобретения зла. История всегда была историей войн и полководцев, и война являлась, скажем так, мерой ужаса. Поэтому люди смешивают понятия войны и катастрофы... В Чернобыле мы видим как будто бы все признаки войны: много солдат, эвакуация, оставленное жилье. Нарушен ход жизни. Чернобыльская информация в газетах сплошь из военных слов: атом, взрыв, герои... И это затрудняет понимание того, что мы находимся в новой истории... Началась история катастроф... Но человек не хочет об этом думать, потому что не задумывался над этим никогда, он прячется за то, что ему знакомо. За прошлое. Даже памятники героям Чернобыля похожи на военные...

– Моя первая поездка в зону...

Цвели сады, радостно блестела на солнце молодая трава. Пели птицы. Такой знакомый... знакомый... мир. Первая мысль: все на месте и все – как прежде. Та же земля, та же вода, те же деревья. И форма, и цвет, и запах у них вечные, никто не в силах тут что-либо изменить. Но уже в первый день мне объяснили: цветы рвать не надо, на земле лучше не сидеть, воду из родника не пить. К вечеру наблюдала, как пастухи хотели загнать в реку усталое стадо, но коровы

подходили к воде и тут же поворачивали назад. Как-то они догадывались об опасности. А кошки, рассказывали мне, перестали естьдохлых мышей, а те валялись везде: в поле, во дворах. Смерть таилась повсюду, но это была какая-то другая смерть. Под новыми масками. В незнакомом обличи. Человека застигли врасплох, он был не готов. Не готов как биовид, не срабатывал весь его природный инструмент, который настроен, чтобы увидеть, услышать, потрогать. Это уже было невозможно, глаза, уши, пальцы негодились, не могли послужить, потому что радиация не видна, и у нее нет запаха и звука. Она бестелесна. Всю жизнь мы воевали или готовились к войне, столько о ней знаем – и вдруг! Образ врага изменился. У нас появился другой враг. Враги... Убивала скошенная трава. Пойманная рыба, пойманная дичь. Яблоко... Мир вокруг нас, раньше податливый и дружелюбный, теперь внушал страх. Старые люди, уезжая в эвакуацию и еще не представляя, что навсегда – смотрели на небо: «Солнце светит... Нет ни дыма, ни газа. Не стреляют. Ну разве это война? А надо становиться беженцами...». Знакомый... незнакомый... мир.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.me/svetlana-aleksievich/chernobyl-skaya-molitva-hronika-buduschego>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)